

ИСПЫТЫВАЮ НЕПРЕОДОЛИМУЮ ЗАВИСТЬ

То, что вы сейчас прочтете, — наиболее полный на сегодняшний день свод текстов Фаины Георгиевны Раневской. Слово «сейчас» — не случайно. Уверенность, что фрагменты книги, написанные ее рукой, читаются в один присест, подтверждается постоянно. В истории культуры найдется не так много личностей, как это может показаться на первый взгляд, о которых интересно решительно все: обстоятельства их жизни, высказывания, афоризмы, ядовитые уколы. Многие замечательные актеры признавались, что старались держать с ней дистанцию, просто оттого, что не перенесли бы ее гнева. Слишком велика была колдовская сила ее дара и личности. И слишком страшно было оказаться в положении человека нашпиленным на иглу ее афористичных резолюций.

Кому приятно войти в историю культуры «б... в кепочке»?

Или «амазонками в климаксе»?

Все пройдет, а это останется... При ней было страшно ступать, говорить, строить роль. Словно некий чудовищный организм не вполне земного происхождения, она видела людей и дела их сквозь призму своего ни на что не похожего гения. И сколь же могучей была отдача ее приятия, жалости и любви, когда происходило приятие человека.

По всем публикациям о Раневской разбросаны упоминания об обидах и несправедливостях, которые выпали на долю актрисы. Ничтожное количество ролей в кино, одиночество, горечь отчаяния — рассуждения на эту тему давно стали хорошим тоном и общим местом. Но что и как происходило на самом деле, кто играл — как это принято выражаться — «неблаговидные» роли, порой уходит из кадра. Точнее, остается за полями той книги, которую так и не написала Фаина Георгиевна. Некоторые фрагменты помещенных здесь текстов дают об этом представление.

Почти полвека проработала Раневская в московских театрах. Шесть лет — в Театре Советской Армии, столько же — у Охлопкова, восемь — у Равенских в Театре им. Пушкина. В начале шестидесятых во время репетиции в этом театре ей сделали замечание: «Фаина Георгиевна, говорите четче, у вас как будто что-то во рту».

Напросились. «А вы разве не знаете, что у меня полон рот говна?!» И вскоре ушла.

Без малого тридцать лет «прослужила» у Ю. А. Завадского в Театре им. Моссовета. Отсюда Раневская тоже несколько раз уходила, возвращалась и вновь писала заявление об уходе. Завадский старался не помнить обид. Точнее, не хотел на них сосредотачиваться. Он умел казаться великодушным. Это только часть правды. О взаимоотношениях Раневской и Завадского можно написать отдельную книгу: извечный конфликт между КАЗАТЬСЯ и БЫТЬ нашел в их личностях достойное драматургическое продолжение. Был ли Завадский ее злым гением? Судить об их отношениях не коммунальным театроведам. Знаю, что в конце жизни Фаина Георгиевна нашла теплые слова, посвященные его памяти.

Да дело и не в одном Завадском. Здесь уместнее вспомнить замечание Раневской об Эйзенштейне: «Трудно быть гением среди козювок...»

Несопоставимость масштабов личностей — ситуация непоправимая. Это судьба. И подлинная тема уничтоженной книги Раневской.

Среди многочисленных недугов Фаины Георгиевны несомненно значилась мания совершенства. Ее дар был неделим. Так, как она создавала свои роли, так — полагала — должна создаваться и книга. «А если не сказать всего, зна-

чит, ничего не сказать», — говорила она. И уничтожила все написанное за три года. Безжалостно и непоправимо, считая, что на языке Пушкина и Толстого писать «пожилой актрисе» не следует.

Что ж... Остается жалеть, что среди ее болезней не нашлось места только одной: графомании.

К счастью для нас, контуры этой огромной «ненаписанной книги» остались во фрагментах, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Школьные тетрадки, обрывки, рецепты, какие-то картонки. Почерк иногда такой, что кричать хочется. «С моим почерком меня никогда бы не приняли в следователи, только в бандиты», — говорила актриса. Часть этих «бандитских» записей публиковалась и ранее, другая впервые помещена в этой книге.

Это только Раневская. Без комментаторов и комментариев, которых бы она не потеряла. И расположены они не по мере их написания в дневниках, а так, чтобы по возможности избежать пояснений. Тех, кому кажется, что это не удалось, отсылаю к моей книге «Фаина Раневская. Монолог». А здесь пусть останутся только записи «пожилой актрисы».

Иными словами, это не история черновиков, а история тем и личностей. Станиславский, Таиров, Михоэлз, Качалов, Ахматова, Павла и Ирина Вульф... Одиночество, дар, скитания, страхи,

влюбленности, очарования, гнев и жалость. Не хотелось бы в очередной раз представлять Раневскую как автора театральных реприз. Она стала автором своего Жития. Рассказанное о ней порой так же органично сливается со сказанным ею самой, как новеллы Хармса о «Пушкине и Толстом», как анекдоты. Она Автор в самом глубоком и единственном смысле слова, и одними байками тут не отделаться.

Но... одна, почти крамольная мысль... Вдруг эти записи и есть **ЕДИНСТВЕННЫЙ** вариант той книги, которую Фаина Георгиевна **МОГЛА** нам оставить. Ведь для чего-то же сдала она их на хранение в **АРХИВ**. Может быть, абсолютное чувство стиля не позволило ей ограничиться добротными актерскими мемуарами, а подарить эти разлетающиеся листочки ее неотогретой жизни.

Впрочем, с какой определенностью можно судить о человеке, воскликнувшем: «А может быть, поехать в Прибалтику? А если я там умру? Что я буду делать?»

Д. Щеглов

«СКРОМНОСТЬ ИЛИ ЖЕ САТАНИНСКАЯ ГОРДЫНЯ?..»

Милый, дорогой Виктор Платонович!

...Книжку (повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». — Д. Щ.) читала с восторгом, с восхищением и чувством черной зависти. Хотелось бы и мне так писать. Получила грозное предупреждение из издательства. Строчки не могу выдать.

Пожалуй, единственная болезнь, которой нет у меня, — графомания, а как бы сейчас она мне пригодилась.

(Из письма Ф. Раневской писателю В. Некрасову)



Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо — не хочется. Хорошо — неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке.

В том, с какой бесцеремонностью ко мне пристают с требованием писать о себе, — есть бессер-

лечие. ...Я знаю самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю с этой отдачей.

Если бы уступила просьбам и стала писать о себе — это была бы «жалобная книга».

«Судьба — шлюха».

...Не могу записывать, ни к чему. Противно брать в руки карандаш. Надо писать только одну фразу: «Все проходит». ...И к тому же у меня непреодолимое отвращение к процессу писания. «Писанина». Лепет стариковский, омерзительная распушенность, ненавижу мемуары актерские. Кроме книжки П. Л. (Вульф. — Д. Ш.)



Все бранят меня за то, что я порвала книгу воспоминаний. Почему я так поступила?

Кто-то сказал, кажется, Стендаль: «Если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза». И это решило судьбу книги. Когда она усыпала пол моей комнаты, — листья бумаги валялись обратной стороной, т. е. белым, и было похоже, что это мертвые птицы. «Воспоминания» — невольная сплетня. О себе говорить неудобно (а очень хочется). «Воспоминания» — это от чего? У меня от одиночества смертного.

...Писать должны писатели, а актерам положено играть на театре.

Все ушли... Рядом бродяга, псина, безумно ее полюбила. Думаю, что собаки острее чувству-

ют, потому что не умеют говорить. Заразила я ее бессонницей и моей звериной тоской. Когда ухожу, она плачет. Беру ее с собой в театр, а потом рвусь к ней. Мне еще никто так не радовался.

...Наверное, зря порвала все, что составило бы книгу, о которой просило ВТО. И аванс надо теперь возвращать 2 т. Бог с ними, с деньгами, соберу, отдам аванс, а почему уничтожила? Скромность или же сатанинская гордыня? Нет, тут что-то другое. ...Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных. Я очень хорошо знаю, что талантлива, а что я создала? Пропищала, и только. Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работы? Никому я не была нужна. Охлопков, Завадский, Алекс. Дмитр. Попов были снисходительны, Завадский ненавидел. Я бегала из театра в театр, искала, не находила. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась. ...В театре Завадского заживо гнию.



Иногда приходит в голову что-то неглупое, но я тут же забываю это неглупое. Умное давно не посещает мои мозги.

...Книга должна быть написана художником или мыслителем. Гений — это талант умершего.

Вот почему порвала мой опус.

...Воспоминания — это богатство старости.

«ВОСПОМИНАНИЕ — НЕВОЛЬНАЯ СПЛЕТНЯ»

Сегодня Л., с которой мы гуляли в Ботаническом саду, шлепая по лужам, сказала: «Я хорошо понимаю то, что вы теперь постоянно вспоминаете детство, эти воспоминания — «грезы старости».



Наверное, скоро умру. Мне видится детство все чаще и чаще. Разные события всплывают из недр памяти и волнуют до сердцебиения.

Я вижу двор, узкий и длинный, мощный бульжником. Во дворе сидит на цепи лохматая собака с густой свалявшейся шерстью, в которой застрял мусор и даже гвозди, — по прозвищу Букет. Букет всегда плачет и гремит цепью. Я люблю его. Я обнимаю его за голову, вижу его добрые, умные глаза, прижимаюсь лицом к морде, шепчу слова любви. От Букета плохо пахнет, но мне это не мешает. В черном небе — белые звезды, от них светло. И мне видно из окна, как со

двора волокут нашу лошадь. Кучер говорит, что лошадь подохла от старости и что тащат ее на живодерню.

Я не знаю, что такое живодерня. Мне пять лет.



...В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль за спасение утопающих...

У дворника на пиджаке медаль, мне очень она нравится, я хочу такую же, но медаль дают за храбрость — объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок, достойный медали.

В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть и за это мне дали медаль, как у нашего дворника.

Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала: «Похоронные принадлежности».



...Испытываю непреодолимое желание повторять все, что делает дворник. Верчу козью ножку и произношу слова, значение которых поняла только взрослой. Изображаю всех, кто попадает на глаза. «Подайте Христа ради», — произношу вслед за нищим; «Сахарная мороженая», — кричу вслед за мороженщиком; «Иду

на Афон Богу молиться», — шамкаю беззубым ртом и хожу с палкой скрючившись, а мне 4 года.

Актрисой себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале — посмотреть, какая я в слезах.

...Я стою в детской на подоконнике и смотрю в окно дома напротив. Нас разделяет узкая улица, и потому мне хорошо видно все, что там происходит.

Там танцуют, смеются, визжат. Это бал в офицерском собрании.

Мне семь лет, я не знаю слов «пошлость» и «мещанство», но мне очень не нравится все, что вижу на втором этаже в окне дома напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать!..

Там чужие, они мне не нравятся, но я смотрю на них с интересом.

Потом офицеры и их дамы уехали, и в доме напротив поселилась учительница географии — толстая важная старуха, у которой я училась, поступив в гимназию. Она ставила мне двойки и выгоняла из класса, презирая меня за невежество в области географии. В ее окно я не смотрела, там не было ничего интересного.

Через много лет, став актрисой, я получила роль акушерки Змеюкиной в чеховской «Свадьбе». Мне очень помогли мои детские впечатле-

ния-воспоминания об офицерских балах. Помогли наблюдательность, стремление увидеть в человеке характерное: смешное или жалкое, доброе или злое...

Играть, представлять кого-либо из людей, мне знакомых, я стала лет с пяти и часто бывала наказана за эти показы...



Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну немку. Ночью молила Бога, чтобы, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала запоем. Где кого-то обижали, плакала навзрыд, — тогда отнимали книгу и меня ставили в угол.

Училась плохо, арифметика была страшной пыткой. Писать без ошибок так и не научилась. Считать тоже. Наверное, потому всегда, и по сию пору, всегда без денег..

...В семье была нелюбима. Мать обожала, отца боялась и не очень любила.

Учиться я начала, повзрослев. И теперь, в старости, стараюсь узнать больше и больше.

Часто вспоминаю мудреца: «...знаю только то, что ничего не знаю...»

Всегда завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист — читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергало меня в трепет. Гимна-

зист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами: «...так могла солгать лишь мать». Гимназист зарыдал, я была в экстазе.

Подруга сестры читала стихи: «Увидев почерк мой, Вы, верно, удивитесь, я не писала Вам давно и думаю, Вам это все равно». Подруга сестры тоже и рыдала, и хохотала. И опять мой восторг, и зависть, и горе — почему у меня ничего не выходило, когда я пыталась им подражать. Значит, я не могу стать актрисой?

Теперь, к концу моей жизни, я не выношу актеров «игральщиков». Не выношу органически, до физического отвращения — меня тошнит от партнера, «играющего роль», а не живущего тем, что ему надлежит делать в силу обстоятельств. Сейчас мучаюсь от партнера, который «представляет» всегда одинаково, как запись на пластинке. Если актер не импровизирует — ремесло, мерзкое ремесло!



В городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина. У рояля стояла большая лира из цветов. Скрябин, вый-